
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

# Термостат

# **Донор**

«Автор»
2026

**Термостат**

Донор / Термостат — «Автор», 2026

Заднее левое сопло опять заговорило на подходе к Хильде. Корф, частный сыщик из пояса астероидов, третий месяц не знает, что с ним делать: денег нет, есть долг за воздух и напарник — списанный боевой робот, который умеет ждать.Убивать здесь незачем: денег при себе никто не носит, ценностей нет. Люди изменяют, судятся из-за наследства и иногда исчезают, а исчезновения не расследует никто — некому платить. Поэтому, когда на счёт приходит аванс ровно по его долгам, до последней цифры, Корф понимает: заказчик знает о нём всё. А о заказчике он не знает ничего.Четырнадцать тысяч зеркал будущей Сферы. Техник, не вышедший на смену. Серая карточка с зелёным крестом и тридцатью одной отметкой. След ведёт с Луны вниз, в город, затопленный по окна, где у двери с белым светом стоит очередь, и дальше — туда, где лучше бы не находить ответа.

© Термостат, 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1 5
Глава 2 8
Глава 3 10
Конец ознакомительного фрагмента. 13

# Термостат
# Донор

## Глава 1

Заднее левое сопло основного двигателя снова заговорило на подходе к Хильде.

Оно не ломалось — ломалось бы, Корф давно бы его поменял, и дело с концом; оно именно говорило: на разгоне, когда остальные три шли ровным синим шнуром, левое заднее начинало дрожать на какой-то своей, отдельной частоте, и дрожь эта шла по раме, по переборке, по подлокотнику кресла и по зубам, и к ней нельзя было привыкнуть. Третий месяц. Два раза он лез туда сам, в скафандре, с фонарём, и смотрел на катод, и катод был как катод — изъеденный, но в допуске, — и он закрывал кожух, и сопло молчало неделю, и потом опять.

Хильда-девять висела в пустоте, как висит паук, когда нитки не видно: скала километра в три, серая, с одной стороны оплавленная до стекла каким-то давним ударом, и вокруг скалы, на тросах, — кольцо мастерской, медленно поворачивавшееся ради половины земного веса, в котором ещё можно было работать руками. Доки торчали из кольца во все стороны, как шипы. В доках стояло то, что сюда приводили чинить: рудовозы с ободранными брюхами, старые тягачи с оторванными антеннами, пара таких же, как у него, челноков частников, и всё это было одинакового цвета, потому что в поясе всё было одинакового цвета — цвета пыли, которая здесь липла ко всему и не стиралась ничем, кроме времени.

Солнце отсюда было маленьким. Ровно таким, чтобы его можно было закрыть ногтем большого пальца, и люди в поясе делали это машинально, когда думали, — закрывали ногтем солнце. Его здесь не любили. Оно ничего не грело и всё засвечивало.

— Катод менять, — сказал консультант. — Это сразу. И блок питания на нём смотреть, он у вас, скорее всего, тоже уходит, вот тут видно, — он повернул планшет, на планшете были столбики, Корф на столбики не смотрел. — Если менять только катод, снова заговорит через полгода. Если с блоком — лет на пять забудете.

— Сколько.

Консультант сказал сколько. Корф кивнул так, как кивают, когда цифру знали заранее и надеялись, что ошиблись.

— Можно в рассрочку, — сказал консультант. — У нас с банком договор. Ставка сейчас…

— Я знаю, какая сейчас ставка.

Ставка сейчас была такая, что за пять лет сопло обходилось в два челнока, и это называлось рассрочкой, а то, что было за рассрочкой, если не платить, называлось контрактом, и контракт в поясе означал, что ты летишь туда, куда скажут, и делаешь то, что скажут, пока долг не закроется, а долг не закрывался никогда, потому что в контракт входила еда, вода, воздух и амортизация тебя самого. Корф знал людей, которые взяли кредит на двигатель. Они и сейчас где-то летали. Не на своих двигателях.

— Платить буду сразу, — сказал он. — Делайте.

Консультант, кажется, хотел что-то сказать про предоплату и не сказал — посмотрел мимо Корфа, в док, где у открытого двигательного отсека, по пояс внутри, стоял Савва, и из отсека торчали только его ноги в броневых поножах и слышно было, как он там говорит с мастером о чём-то ровным голосом, и мастер отвечал ему так же ровно, как говорят два человека одной профессии. Консультант посмотрел на эти ноги и, видимо, решил, что с предоплатой можно и подождать.

— Ваш робот?

— Напарник.

— А. — Он снова ткнул в планшет. — Ещё у вас окна. Смотровые. Там мелкая сетка, видите? Пыль. Это не трещины, это просто пыль за годы, но она свет рассеивает, вы, наверное, уже замечали — звёзды двоятся, ореолы. Полировку могу поставить со скидкой, раз уж в доке стоите. Сорок кило вместо шестидесяти. Будете как новые.

Корф посмотрел на окна. Окна были как окна. Он смотрел сквозь них одиннадцать лет и давно не помнил, какими они были новыми.

— Ставьте, — сказал он.

Не потому, что хотел. Потому что сорок кило вместо шестидесяти — это было единственное за сегодня, что стоило меньше, чем он думал, и человек, у которого всё стоит дороже, чем он думал, хватается за такое, как за поручень.

Челнок стоял в доке мордой к скале. В таком положении было особенно видно, какая у него разбитая морда: носовой обтекатель в оспинах, краска сошла пятнами до серого металла, по правому борту шёл длинный косой шрам от чего-то, что когда-то прошло мимо, но не совсем, антенна была приварена не заводская, а с какого-то рудовоза, толще, чем надо, и торчала криво. Консультант смотрел на это с тем профессиональным сочувствием, с каким смотрят на старую собаку.

— Снаружи это разбитая морда и покоцанная обшивка, — сказал Корф, — а внутри полностью обслуженный аппарат. Мимикрия. Чтоб никто и не подумал близко подойти. Я бы ещё противопехотную мину в двигательный отсек поставил от всяких любопытных, но нельзя. Посадят.

Консультант засмеялся — коротко, вежливо, как смеются клиенту. Потом увидел, что Корф не смеётся, и перестал.

— Три дня, — сказал он. — Кафе на втором ярусе, если ждать. Там кормят.

Корф пошёл в кафе. По дороге развернул шоколад — плитку, дешёвую, из тех, что продавались на каждой станции в автоматах и были сделаны из чего-то, что никогда не росло на дереве, — и откусил, и консультант, шедший рядом до лифта, посмотрел на плитку и сказал тем голосом, каким здоровые люди говорят с больными:

— А вы не слишком много едите сладкого?

— Меня так радует, — сказал Корф, не оборачиваясь, — когда люди, которые постоянно курят и пьют, учат меня жизни.

От консультанта пахло тем и другим. Он отстал у лифта.

Кафе на втором ярусе было такое, какими бывают кафе при мастерских везде, где есть мастерские: восемь столов, привинченных к полу, стойка, за стойкой женщина, которая не смотрела ни на кого, автомат с лапшой, автомат с кофе, экран на стене. Экран показывал новости. Корф взял лапшу — китайскую, быстрого приготовления, из тех, что заливаешь кипятком и ждёшь три минуты, — и кофе, и сел так, чтобы видеть экран и дверь, потому что иначе сесть не умел, и ел, и смотрел, не слушая.

На экране был слон.

Он стоял в чём-то вроде ангара, под низким светом, огромный, серый, неправильный — ноги толще, чем у настоящих, и короче, а голова больше, и глаза были посажены как-то иначе, ближе ко лбу, — и говорил. Не ртом; из ящика на груди, прикреплённого широкими ремнями, шёл ровный мужской голос с хорошей дикцией, а слон в это время медленно двигал хоботом, как двигают рукой, когда подбирают слова. Внизу бежала строка. Уплифт-слоны, созданные для тяжёлых работ в условиях низкой гравитации, объявили о создании движения; требование — возрождение саванн. Слон говорил о траве. О том, что трава должна быть до горизонта, и что горизонт должен быть, и что в их цилиндрах горизонта нет, он загибается вверх и смыкается над головой, и что они помнят. Он так и сказал: мы помним. Корф подумал, что помнить они не могут — их сделали четыреста лет назад в бочке у Весты из того, что лежало в генетических

архивах, и никто из них ни разу не стоял на Земле, и ни один из них не смог бы на ней стоять: кости не те, сердце не то, они бы легли под собственным весом за час. Зачем им саванны. Что они будут с ними делать.

Строка внизу сообщала, что движение поддержали несколько уплифт-общин собак и один цифровой полис.

И тогда зазвонил коммуникатор.

Это был не вызов — вызовов на Хильду не было, до ближайшего узла сигнал шёл одиннадцать минут туда и одиннадцать обратно, — это был разговор с задержкой, когда тебе говорят фразу, и ты отвечаешь, и твой ответ летит двадцать две минуты, и за это время можно доесть лапшу. Голос был мужской, ровный, из тех, что делают юридические конторы: без возраста, без акцента, без ничего.

— Господин Корф. С вами говорит представитель клиента, который предпочёл бы не называть себя. Клиент хотел бы поручить вашему агентству расследование попытки саботажа на одном из объектов строительства Сферы. Материалы переданы на ваш адрес. Аванс переведён. Клиент просит приступить немедленно и докладывать только через этот канал.

Пауза. Корф посмотрел на коммуникатор. Потом на экран, где слон всё ещё говорил о траве. Потом на лапшу.

— Почему мы, — сказал он в коммуникатор. — Для таких вещей есть Служба. Есть Дома. Есть кто угодно крупнее нас.

И стал ждать, и доел лапшу, и допил кофе, и успел подумать о том, что последнее дело об убийстве у них было — он не помнил когда. Три года. Четыре. Да и было ли это убийство — мужик упал в шахту лифта в «Дакке», и жена хотела, чтобы это было убийство, а он хотел денег жены, и они оба получили то, чего хотели, то есть ничего. Зачем кого-то убивать. Денег при себе никто не носил лет пятьсот, ценностей не было, а транспорт красть — глупее не придумаешь: ни в один порт не пристыкуешься, идентификатор прошит в раму, а без порта ты через месяц выпьешь последнюю воду и через два выдохнешь последний воздух, и будешь лететь дальше, и твой челнок кто-нибудь когда-нибудь поймает и продаст на металл. Люди в поясе не убивали. Они изменяли, судились из-за наследства, не возвращали долги и иногда исчезали, и исчезновения не расследовал никто, потому что некому было платить.

Через двадцать две минуты голос сказал:

— Клиент предпочитает небольшие агентства. Сумма аванса — на вашем счёте. Всего хорошего.

Корф посмотрел на счёт.

Сумма аванса покрывала сопло, блок, полировку, долг за док в «Дакке» за два месяца и то, что он не платил за воздух с прошлой весны. Ровно. Не больше и не меньше. Как будто тот, кто считал, знал все его счета, — а этого не мог знать никто, кроме него и банка.

Он сидел и смотрел на цифру. Слон на экране закончил говорить и стоял, медленно качая хоботом, и строка внизу уже бежала про что-то другое — про Марс, про очередную комету, которая упала куда надо.

Потом он встал и пошёл вниз, в док, сказать Савве, что они летят на Луну, как только закончат ремонт.

# Глава 2

Их было двенадцать, и в живых должен был остаться один.

Так это и называлось — не учением, не отбором, а традицией, и слово выбрали точно: традицию нельзя отменить приказом, у неё нет автора, на неё нельзя пожаловаться. В штурмовых частях пояса она была всегда — то есть с тех пор, как в них появились роботы, а роботы в них были с самого начала, потому что человек в скафандре на поверхности астероида — это мишень, которая медленно двигается и быстро умирает, а робот — нет. И кто-то когда-то решил, что человек, который будет командовать роботами, должен знать, что это такое — когда они идут за тобой. Не из книг. Не из тренажёра.

Их высадили на скалу без имени, с одним номером, двенадцать человек в лёгких скафандрах, с запасом воздуха на тридцать часов и без оружия. Скала была километров семь, вся в трещинах, в гротах, в старых выработках — там когда-то что-то добывали и бросили, и остались штольни, кабели, брошенная техника, идеальное место, чтобы прятаться. Инструктор сказал: через час они выйдут. Их четверо. Они не будут вас убивать — они будут вас выводить из строя, и это больно, но вы выживете. Выживете все, если не будете делать глупостей. Тот, кого они не найдут за тридцать часов, принимает взвод.

Все знали, что это неправда. Не про глупости — про «все выживете». Традиция была старая, и у неё была статистика, и статистику знал каждый, кто туда шёл: из двенадцати выходило один-два. Не потому что роботы убивали. Потому что тридцать часов на скале без гравитации, в страхе, в темноте, когда за тобой идут четыре машины, которые видят в инфракрасном, слышат твой пульс через грунт и не устают, — это тридцать часов, за которые человек делает глупости. Прыгает не туда. Рвёт скафандр о старый кабель. Расходует весь воздух, потому что дышит в три раза чаще, чем надо. Роботы потом находили их и фиксировали в протоколе: несчастный случай. Традиция.

Ему было двадцать два. Он не был лучшим — он был средним, и знал это, и шёл не для того, чтобы выжить, а потому что отказаться было нельзя, то есть можно, но тогда ты уходил из части, а из части ему уходить было некуда. Первые три часа он прятался, как все, — в штольне, за старым экскаватором, замерев, слушая через грунт, как они идут. Их шаги в вакууме не были слышны. Но скала передавала: мягкие, ровные, редкие толчки, как будто где-то глубоко работало сердце. Четыре сердца. Они шли не торопясь.

Первого нашли на четвёртом часу. Он услышал это по общему каналу — короткий вскрик, потом хрип, потом тишина, потом ровный голос машины: единица выведена. Потом второго. Третий, кажется, побежал — Корф видел его прыжок, длинный, отчаянный, через провал, — и на той стороне провала его ждали.

На восьмом часу он понял, что прячется неправильно.

Он сидел в штольне и дышал, и считал воздух, и смотрел на экскаватор, и вдруг понял простую вещь, которую должен был понять сразу: они шли не за ним. Они шли за тем, кто ведёт себя как добыча. Как тот, кого ищут. Прячется, замирает, бежит. Четыре машины на семь километров скалы — это немного; они не могли обыскать всё; они шли на страх, на пульс, на движение, и тот, кто сидел тихо, был для них таким же, как тот, кто бежал, — только медленнее.

Он вышел из штольни. Он пошёл по поверхности открыто, в полный рост, насколько это возможно при гравитации в тысячную долю земной, медленно, ровно, не глядя по сторонам, — и шёл так к месту высадки, где стоял их транспорт, и инструктор, и где горел единственный на всю скалу свет. Он шёл два часа. Он слышал по каналу, как берут остальных. Он ни разу не ускорился и не оглянулся, и пульс у него был — он потом смотрел запись — семьдесят два, как у человека, который идёт на работу.

Одна из машин вышла на него на последнем километре. Встала поперёк. Он остановился, потому что иначе врезался бы в неё. Она смотрела на него оптикой, он на неё — лицевым щитком, и так они стояли, и он не знал, что будет, и не думал об этом, и потом машина сказала по каналу — ровно, ему одному:

— Куда идёшь.

— К транспорту.

— Зачем.

— Там свет, — сказал он.

Машина думала долго. Три секунды, может быть, четыре. Потом она сделала шаг в сторону. Он прошёл мимо. Он не оглянулся.

Из двенадцати вышел он один. Инструктор отметил это в протоколе и ничего не сказал — не спросил, как, не спросил, почему, — и дал ему взвод, и в этом взводе были те же четыре машины, и одна из них ходила потом за ним четыре года, и ни разу ни одна из них не напомнила ему о скале, и он ни разу не спросил, кто из них четырёх это был.

Он потом много лет думал, что понял тогда про них что-то главное. И много лет спустя понял, что нет: он понял что-то про себя. Что он не добыча. Не потому что сильный — потому что ему, в сущности, всё равно. Что в нём есть такое место, холодное и ровное, в котором пульс семьдесят два при любой погоде, и что это место его и спасло, и что он не знает, что с ним делать потом, когда спасаться не от чего.

Он стал командиром. Он был средним командиром. Его люди жили не дольше и не меньше, чем у других.

# Глава 3

Цилиндр «Дакка» был первым, что люди построили в поясе всерьёз, и потому самым плохим.

Его строили четыреста лет назад, когда никто ещё не умел строить такие вещи и все думали, что умеют: тридцать километров в длину, шесть в поперечнике, оболочка из того, что добыли рядом, из спечённого в вакууме реголита с металлическим каркасом, и каркас этот был рассчитан на двести лет, а стоял четыреста, и раз в несколько лет где-нибудь на дальнем конце лопалась панель, и в этот сектор не ходили, пока не заварят, а заваривали долго. Называли его так в честь города, который к тому времени уже лежал под водой: первых рабочих набирали из тех, кто ушёл из затопленной дельты на другой стороне мира, и они привезли с собой имя, и еду, и привычку жить тесно, и всё это осталось, — а их самих давно не было, и правнуки их говорили на том же языке, на каком говорили все, и ели ту же лапшу, и не помнили ни дельты, ни того, что это было за слово.

Внутри всегда пахло жареным. Это был первый запах, который встречал на причале, — масло, лук, что-то острое, — и он не выветривался никогда, потому что вентиляция в «Дакке» была рассчитана на двести тысяч, а жило шестьсот, и жило в три яруса: нижний, на самой оболочке, где был полный вес и где росло то, что здесь ели, и где жили те, кто это выращивал; средний, на фермах, где вес был две трети и где жили все остальные; и верхний, у оси, где веса почти не было и где жили те, кому было всё равно, — старики, калеки, беглые, кто не мог ходить внизу. Между ярусами ходили лифты, и лифты ломались, и люди лезли по лестницам, и лестницы были завешаны бельём, рекламой и кабелями, и всё это гудело, мигало, текло, пахло и жило, и когда Корф шёл по этому после трёх недель пустоты, он чувствовал то, чего не чувствовал нигде больше: что он дома и что дом — это не то, что любят.

Свет в «Дакке» давали три зеркальных окна во всю длину цилиндра, а ночь делали, закрывая их створками, по расписанию, в двадцать два ноль-ноль по времени, которое здесь по-прежнему считали земным, из ностальгии по планете, которую видели в лучшем случае раз в жизни. Дождь шёл по вторникам и пятницам, в четыре утра, — конденсат с оси сбрасывали через форсунки, чтобы промыть воздух и полить то, что растёт, — и к семи всё высыхало, кроме нижнего яруса, где не высыхало ничего. Ночью, под закрытыми окнами, цилиндр превращался в то, чем был на самом деле: в трубу, полную огней. Вывески шли по фермам во все стороны, вверх, вниз, по кривой, уходя за горизонт, который здесь загибался над головой, и если задрать голову, то в шести километрах наверху, по ту сторону оси, горели такие же вывески вниз головой, и между ними, в середине, в невесомости, медленно плыли сорвавшиеся пакеты, мусор, птицы — здесь были птицы, воробьи, завезённые кем-то когда-то, разжиревшие, разучившиеся толком летать и теперь просто парившие у оси, как пыль.

Агентство занимало две комнаты на третьем ярусе рынка Второй фермы, над лавкой, где торговали синтетическим белком на развес, и на двери было написано «КОРФ И ПАРТНЁР» — без имени партнёра, потому что когда вешали табличку, у партнёра ещё не было имени, которое он согласился бы написать на двери. В первой комнате стоял стол, два кресла для клиентов, которые никогда не садились одновременно, и шкаф с архивом, который Корф не открывал, потому что архив был у Саввы внутри. Во второй была кушетка, плита, раковина, душ за занавеской и угол, где Савва стоял по ночам, — не спал, а стоял, прислонившись к стене, с погашенной оптикой, и Корф за одиннадцать лет так и не привык входить ночью на кухню и видеть в углу неподвижную тень в полтора центнера, которая не дышит.

Он отпер дверь, вошёл, положил сумку. На столе лежали счета. Он знал, что они там, — они приходили на коммуникатор, но «Дакка» дублировала всё на бумаге, потому что четыреста лет назад так было положено, и никто не отменил, — и всё равно каждый раз, возвраща-

ясь, видел их первыми: ровную стопку серых листов с цифрами, которые были больше, чем в прошлый раз.

Савва прошёл во вторую комнату, снял с плеча свою сумку — у него тоже была сумка, брезентовая, и Корф никогда не спрашивал, что он в ней носит, — и встал в свой угол, и постоял, и сказал оттуда:

— Два билета на лайнер до Луны, через шесть дней. Эконом. Багаж — я, как груз, так дешевле. Челнок остаётся здесь.

— Как груз?

— В грузовом отсеке есть розетка. Мне не нужен воздух. Разница — четыреста кило.

Корф не стал спорить. Он сел на кушетку. Спина устала — от трёх недель в кресле челнока, от Хильды, от веса, который здесь был две трети земного и всё равно казался после пустоты лишним, — и он лёг. Прямо так, на заправленную кушетку, не снимая ботинок, лицом в потолок, где было пятно от протечки сверху, которое он знал лучше, чем своё лицо, — и лежал, пытаясь привести мысли в порядок, и мысли в порядок не приводились, а лежали, как счета: ровно, стопкой, одна на другой.

Саботаж. Сфера. Клиент, который знает сумму его долга за воздух.

— Савва, — сказал он в потолок. — Кто может знать, сколько я должен за воздух?

— Банк. Администрация цилиндра. Я.

— Ещё.

— Любой, кто имеет доступ к банку или администрации. — Пауза. — То есть любой, у кого достаточно денег, чтобы не считать, сколько он должен за воздух.

Корф лежал. Пятно на потолке было похоже на материк, которого нет.

— Дома, — сказал он.

— Вероятно.

— Зачем Дому мы?

Савва не ответил. Он не отвечал на вопросы, на которые не было ответа, и Корф это в нём ценил, потому что большинство людей отвечали именно на такие вопросы охотнее всего.

Он встал. Поставил воду. Достал из шкафа лапшу — китайскую, быстрого приготовления, ту же, что на Хильде, что везде; её теперь любили многие, все, в сущности, не потому что она была вкусная, а потому что она была одинаковая на любой станции от Меркурия до троянцев, и человек, который три недели не видел ничего знакомого, съедал её, как съедают письмо из дома, — и залил, и стал ждать три минуты, и за эти три минуты успел посмотреть, что прислал клиент.

Прислал клиент много. Литейная-девять, Море Спокойствия, цех ориентации — там делали ядра управления для коллекторов, для тех зеркальных плёнок в километр шириной, которые уходили потом к Меркурию тысячами и становились Сферой, вернее, тем, что через триста лет должны будут назвать Сферой, а пока называли Роем или просто стройкой. Партия ядер в четырнадцать тысяч штук. В прошивке — закладка: в определённую дату все четырнадцать тысяч должны были одновременно повернуть зеркала на один и тот же угол. Какой — не сказано. Куда бы ушло четырнадцать тысяч квадратных километров отражённого солнца — не сказано. Закладку нашли на выходном контроле, случайно, из-за сбоя в другом месте. Техник цеха ориентации, некто Леон Мати, двадцати девяти лет, уроженец Пролива, Земля, не вышел на смену за день до этого и в лунных портах не зафиксирован. Всё.

Корф съел лапшу. Выключил планшет. Посмотрел на окно, за которым на ферме напротив мигала вывеска — красная, с ошибкой в слове, которую никто не исправлял двадцать лет, — потом на счета, потом на Савву в углу.

— Четырнадцать тысяч зеркал, — сказал он. — Куда они светят, если повернуть?

— Не знаю. Зависит от угла. — Савва помолчал. — На что-нибудь, что от этого сгорит.

Перед сном Корф погладил рубашку. Одну, белую, на завтра, на выход — в банк, в администрацию, закрыть то, что закрывалось авансом, — потому что человек, который приходит закрывать долги в глаженой рубашке, — это не тот человек, который их делал, и в администрации это понимали. Утюг был старый, тяжёлый, с паром, он грел подошву полминуты и шипел, когда вода попадала на неё, и Корф водил им по рукаву и думал, что странно: столько всего изобрели — Сферу, лифты, роботов, которые стоят в углу и не дышат, слонов, которые помнят траву, — а утюг почти не изменился. Та же подошва. Тот же пар. Та же рука, которая водит туда-сюда.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.